

**Василий Розанов**

**О происхождении некоторых  
типов Достоевского  
(литература в переплетениях  
с жизнью)**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82.09  
ББК 83.3  
Р64

P64 **Розанов В.**  
О происхождении некоторых типов Достоевского (литература в переплетени-  
ях с жизнью) / Василий Розанов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 40 с.

**ISBN 978-5-4241-3461-6**

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856-1919), русский публицист и мысли-  
тель. Родился в Ветлуге; окончил историко-филологический факультет Мос-  
ковского университета. Работал провинциальным учителем, чиновником,  
журналистом. Выступал с критическими религиозно-философскими очерка-  
ми. Конトラсты в его взглядах, создававшие впечатление душевной патологии,  
позволяли сближать его то с "правыми", то с радикалами, то с представителя-  
ми религиозно-эстетического модернизма (в связи с этим он вынужден был  
печататься в органах, враждебных друг другу, под псевдонимами). Однако  
у этого яркого и оригинального стилиста прослеживается собственная неза-  
висимая линия, прихотливо сочетавшая в себе несовместимое.

**ISBN 978-5-4241-3461-6**

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

В.В. Розанов

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ  
ДОСТОЕВСКОГО  
(ЛИТЕРАТУРА В  
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯХ С  
ЖИЗНЬЮ)



# I.

Творчество Достоевского, даже в самых фантастических его точках, не так уже фантастично, как это представляется читателю, не знакомому с его личностью и с обстоятельствами его творчества. Я помню, в первый же раз, когда познакомился с его вдовою Анною Григорьевною, то спросил ее об этом, уверенный в отрицательном ответе. К удивлению, она дала ответ положительный.

— О нет! Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам. Это простиралось на мелочи. Выпомните в «Братьях Карамазовых» Черемашню и село Мокре.

Еще бы я не «помнил».

Анна Григорьевна весело рассмеялась и точно ушла в воспоминания.

— Так это же станции по дороге из Петербурга в Старую Руссу, куда мы, бывало, ездили каждое лето на дачу, в свой дом.

Я не догадался спросить: «А Лягавый, — тот жулик-кулак, который спит в Мокром пьяный на лавке и, проснувшись, только ругается и хохочет, и больше никакого толку от него ни герой романа, ни читатель романа не видят?» Но и Лягавого, до такой степени конкретного, что его нарочно «не выдумаешь», верно, видел где-нибудь Федор Михайлович, хотя, может быть, и не в Мокром. Такие лица, как доктор Герценштубе (тоже в «Братьях Карамазовых»), не выдумываются. Это слишком частно, особливо и странно: и тут сперва должна сотворить матушка-природа, а потом уже человеку дано срисовать ее и украсить срисованным свое человеческое произведение. Но замечание Анны Григорьевны о том, что Достоевский вообще любил это делать, любил этот прием работы, побуждает расширить границы того исторического и реального, которое, по общему признанию, захватили его романы. До сих пор общее сознание утвердило историческую портретность только за следующими его лицами: Петруша Верховенский в «Бесах», это Нечаев. Кармазинов там же, это — Тургенев (карикатура-портрет). Степан Трофимович со своей статьей «Об аравитянах» — Грановский. Нужно заметить, что с историческим Грановским Степан Трофимович имеет так мало общего, так мало единого, что мы не решились бы на свое указание, если бы не слова Тургенева: «Ну, пусть он изобразил в смешном виде меня (Кармазинов), но зачем он затронул Грановского?» «Затрогивания» было очень мало: он перенес мысленно благородного, мягкого, уступчивого, пассивного идеалиста 40-х годов в сильную и мутную волну, 60-х годов. Но все подробности смешной и чуть-чуть нечистоплотной биографии Степана Трофимовича, разумеется, не имеют ничего общего с настоящею биографией Грановского.

Достоевский имел одну, так сказать, мимолетно-общую черту с Гоголем, — демоническую: его, как и Гоголя, смех разбирал «до пупика» при мысли, при образе, при самом имени какого-нибудь «установление идеального» лица, авторитета, идеала. Помните, у Гоголя эту дьявольскую мефистофелевскую гримасу:

«Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель

Гоффман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и что-то говоря с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и подняв вверх голову, а Гоффман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожного ножа на самой его поверхности. Шиллер говорил: «Я не хочу, мне не нужен нос! У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 коп.; это будет 1 руб. 20 коп., это будет в год 14 р. 40 коп. Слышишь, мой друг Гоффман? На один нос 14 р. 40 к.! Да, по праздникам я нюхаю Pane, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта Pane, по 2 р. фунт. Шесть да четырнадцать – 20 р. 40 к. на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гоффман, не так ли? Но я швабский немец, у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!»

Это – дьяволов смех... Это – Мефистофель, шумящий со студентами в по-гребке Ауэрбаха: его голос, его тембр, все его, но в натуре, т. е. я хочу сказать, что это место с «Гоффманом» и «Шиллером» написал настоящий Мефистофель, не выдуманный, не литературный, а какому в самом деле случается бродить по свету...

Кармазинов и Степан Трофимович, в каковых преобразовал Достоевский Тургенева и Грановского, суть эти вот именно «Шиллер» и «Гоффман» гоголевского творчества, конечно, без всякой мысли о подражании. Обоих, – и Гоголя, и Достоевского, – толкнул «смех до пупика», какой в них поднимался при виде «утверженного авторитета», и особенно морального и эстетического. Таковыми в Германии особенно были Шиллер и Гоффман, а в России тоже, несомненно, были именно Тургенев и Грановский.

Гоголь взял самое мечтательное, самое эфирное и посадил в «сапожника»; Достоевский благороднейшего Грановского посадил в «нахлебники» к богатой вдове да заставил еще жаловаться потихоньку, что его «хотят женить на чужих грехах»... Так же глупо, чудовищно и грязно, как история с отрезаемым по «дороговизне содержания» носом у Гоголя...

Но подобные, взятые из действительности лица всегда суть вводные персонажи в романах Достоевского, во всяком случае, не главные. Главные, начинающиеся с двоящегося образа Раскольникова – Свидригайлова и кончая Алешею – Иваном Карамазовыми, суть выразители колеблющегося и тоже раздваивающегося миросозерцания самого Достоевского... Будущий историк литературы воспользуется следующим методом для изучения этих главных лиц:

1) Проследит единство некоторых идей, я сказал бы – «навязчивых идей», почти фантомов, которые владеют этими персонажами. Явно, что это то же в своем роде, что автобиографический Нехлюдов у Толстого (в «Утре помешника», в «Юности», в «Воскресении»). Таким «Нехлюдовым» для Достоевского является длинный и разнообразный ряд лиц, – в сущности, вся главная толпа их. Например, в «Униженных и оскорбленных» есть поразительная фигура старого князя Вальковского; чуть-чуть тут взято, может быть, от одного титулованного издателя – автора небольшого литературного органа, издающегося до сих пор, с которым соиздательствовал в свое время Достоевский... Но гораздо более замечательны родство и близость этого князя Вальковского с Свидригайловым. А что

Свидригайлов есть «Нехлюдов» Достоевского, то это видно из того, что не Свидригайлов написал, а Достоевский написал знаменитого «Бобка», – развратные и служебные разговоры покойников на Смоленском кладбище, что буква в букву повторяет кошмар Свидригайлова о том, что, может быть, «тот свет» похож на баню с пауками... «Знаете, деревенская угарная баня... И по всем стенам пауки»... «И только»... «Я бы непременно так сделал, ибо это самое справедливое».

Душно... И вдруг это «душно» пахнуло на нас из «Бобка»...

Далее: Иван – Алеша – старец Зосима, это – опять все «Нехлюдов» Достоевского. Его идеи – в разных вариантах, оттенках... Но здесь я перехожу ко второму методическому приему, который сделает будущий историк литературы, именно: 2) Он сопоставит монологи-суждения главных персонажей в романах Достоевского с монологами самого Федора Михайловича в его «Дневнике писателя» и через это опять откроет «нехлюдовщину» в его романах...

Через два эти приема может быть совершенно выделено все миросозерцание Достоевского, начиная от юности и до его гробовой доски; выделено и, наконец, даже изложено в виде просто хрестоматии из его произведений, по годам его жизни и по времени написания отдельных романов, притом в словах столь ярких, точных и сильных, каких не заменит никакое «собственное изложение» историка литературы, биографа или критика.

\* \* \* Историко-литературные изыскания последних лет, направленные на все поколение 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов, раскрыли перед нами два псевдонима в романах Достоевского... единственно тем, что произведения Достоевского не так ярко помнятся, как произведения Толстого или Тургенева, и огромная и беспорядочная толпа его персонажей далеко не так выпукла перед всеобщим воображением, как Платон Карагаев, Нехлюдов, Пьер или как Базаров, Рудин, даже Пигасов, – только этим можно объяснить, каким образом археологам нашего общества не пришло на ум сопоставить сделанные ими замечательные открытия, замечательные воспоминания с целыми полосами художественных живописаний Федора Михайловича. Мы разумеем исследователей: М. О. Гершензона, А. И. Фаресова, А. С. Пругавина, П. И. Бирюкова, Н. В. Чайковского (известный народоволец). Явно, все названные писатели не принадлежат к «любителям Достоевского», иначе то, что я сейчас скажу, было бы уже давно сказано в нашей литературе.

Отрицательная, отвратительная личность Петруши Верховенского (псевдоним Нечаева) в «Бесах» уравновешивается или, скорее, возмещается целою группою лиц, менее подробно описанных, но, пожалуй, освещенных еще ярче, чем он... Это – Шатов и Кириллов. Кто они? Что такое они? Их положение в обществе, их отношение к действительности те же, что и у Нечаева: положение – посторонних людей, отношение – критическое. Давнее, старое явление, хорошо нам знакомое с гимназии: кто из нас не припомнит, что в то время как масса товарищества: 1) принадлежала к определенному сословию или классу обывательства и 2) по окончании курса предназначала себя к определенной профессии, – врача, судьи, чиновника, земца, помещика и пр., и пр., и пр., – некоторые из милых товарищества нашего отрочества и юношества, собственно: 1) ни к чему себя не предназначали, как к профессии, и 2) ни к какому определенному кругу общества не принадлежали. Я называю эти «тени прошлого», может быть уже

ушедшие в землю, невольно «милыми», потому что хотя тому прошло уже сорок лет, тридцать лет, но за всю жизнь, в которую мало ли народу пересмотрено, мало ли каких встреч было, на этих лицах останавливается воспоминание с наибольшим удовлетворением... дерзну сказать (хотя то были и мальчики) – с наибольшим уважением. Привлекала вот эта их «непринадлежность ни к чему», в настоящем ли, в будущем ли. От этого на них ложился свет какой-то сиротливости, главным образом духовной, хотя большею частью на них лежал и свет физической сиротливости, по отсутствию родства, по слабости родства, или далекого, или нелюбимого и, во всяком случае, не очень «слаженного». Но, главным образом, они были «духовные сироты», потому что ни к чему-то, ни к чему в действительности они не были привязаны, ни с чем не связаны... Вытекало это из избытка у них воображения и общих чувств, общих идей... Все они были монахами-мечтателями, вернее, и по возрасту, – были как бы мечтательными послушниками возле монастыря, который им был совершенно не нужен и никаких их не тянул. Есть такие «монашки» или «монашенки» на отходе, вечно готовые «бежать», вечно уходящие, а не приходящие, однако, с каким-то общим и неопределенным позывом в себе именно к монашеству, т. е. к «бегству от мира», к одиночеству. «Монашества хочется, но невыносим ни один монастырь». Почему же «невыносим»? «Ни один устав не по мне: по мне будет только тот устав, который я сам выдумаю». Таким образом, с существом монашества в этих замечательных и памятных отроках была слита беспредельная анархичность, вытекавшая не из склонности к «дебошу», а из бесконечной индивидуальности в них, субъективности, интимности... Их царапала и «оскорбляла», в сущности, всякая действительность не оттого, что она была дурна, а оттого, что она была не воздушна и слишком тяжело ложилась на их существо, как бы сделанное все из воздуха, мечты и воображения. Все они не чесались или плохо чесались; одевались худо и презирали одеваться хорошо; учились худо или «так себе» и никогда – отлично. Не были драчуны, шалуны, хотя иногда бывали «проказники» и «на худой платформе»... но это – не главное. Главное – книги и мечта. Чтение совершенно необузданное, «без всякого разбора», но, главным образом, без всякого удержа, день и ночь, как гашиш, как опиум. Что же, однако, искалось в чтении? Опять не определенный «устав» и «монастырь», а «как бы куда уйти». «Любовь к чтению» вытекала из того одного, что книга была «не жизнь». «Чтение» было «бегством» для того, у кого не было денег и возможности «купить билет в поезд» и уехать непременно «куда-нибудь», без определения места. Как «определенное место», – так «гадость» для этих 17-18-23-летних «бегунов». Есть такая и secta у русских. А сектантство наше, собственно, разрабатывает вширь и вглубь народную психологию, общественную психологию, личную психологию, но именно – нашу. Эти одиночки-нигилисты, всегда тоскующие, всегда угрюмые, в большинстве – печальные, скучающие, ни к чему не могущие «приткнуться» и привязаться и в то же время безумно привязанные...

К чему?

А вот найти наконец «устав по мне», а за явною невозможностью этого – придумать самому такой «устав», который бы удовлетворил всех, насытил бы всех и никого более не царапал, не мучил, как мучит вообще всякая действительность. И по молодости, да и вообще по разным законам души ("мое "я" есть центр мира"), им не приходило на ум, что мучит их не «такая» или «инная» действитель-

ность, а самое существо действительности, осязательности, конкретности, по противоположности с слишком большой эфирностью существа, большой духовностью, преобладанием воображения и мысли. Таким образом, они стояли, не зная того сами, перед «квадратурою круга», «философским камнем» и «жизненным эликсиром», – темы, равно привлекательные, вековые и важные, потому что неразрешимые. «Неразрешимое» всегда нравится уму человеческому, потому что он и действительно, по существу своему, «больше всего»... Он бы не рос и не был бы вечен, он не был бы умом человека, а только умом животного, если бы что-нибудь нашлось в действительном больше его. Но все его меньше, и в поисках объекта, достойного и равного объекта и соперника, он ищет и привязывается до безумия именно к «неразрешимому», именно к квадратуре круга, к жизненному эликсиру.

## II.

Достоевский, при всех его колебаниях около мировых проблем и около русской действительности, никогда не выпускал из мысли этих «русских мальчиков», как он их назвал под конец жизни в «Братьях Карамазовых». Впрочем, «мальчики» тут ни при чем; это если и «присказка», и даже важная, то все-таки не существа дела. Дело не в возрасте, не в летах, а в психологии. Ведь, и в монастырях «монашенками на отходе» бывают не только отроки и юноши, но и зрелые мужи, иногда даже старцы. В «Братьях Карамазовых» Достоевский устами Ивана называет так его брата Алешу, хотя тот и был в возрасте почти жениха (его полуроман с Лизою Хохлаковой), и еще группу гимназистов почти младших классов, с Колею Красоткиным во главе, читающих «из-под полы» Герцена и проч., и проч. Но есть целый роман, посвященный такому «мальчику»: это – «Подросток». Наконец, не к таким ли, в сущности, «мальчикам» принадлежит и его князь Мышкин, «идиот», в знаменитом романе этого имени? Конечно! Опять типично отроческая психология, хотя и происходящая от болезненной организации героя, но это уже все равно – отчего. Взята невинность отроческая, чистота отроческая, и «оригинальный склад мышления», не связанного, в сущности, ни с чем, не тяготеющего ни к чему реальному. Но этого мало. А кто такие студенты-товарищи Раскольников и Разумихин? Да не всего ли только «желтогородый мальчик» и знаменитый Иван Карамазов, философ 24 лет, сочиняющий, вместо поисков служебного места, легенду о католичестве и православии, о христианстве и судьбах его в истории? Вот эти-то помыслы «о том, чего мне не нужно», и суть всего. Суть в стремлении «я» к бесконечно удаленному от «я», к тому, чего «и не увидеть», о чем «и не услышать». Суть – в этом деле; вернее, – в этом характерном «безделье». «Бродит-бродит человек и сочиняет легенды», как «калики-перехожие» сочиняют свои «духовные стихи». Наконец, если мы вспомним «Пушкинскую речь», канва которой, конечно, была заготовлена раньше, но сказалась она словами, создавшимися в момент самого произнесения, и сказалась, как мы все чувствуем и понимаем, в каком-то глубоком экстазе и волнении, – что такое эти слова об Алеко, ушедшем в цыганский табор от цивилизации, от города?! О, тут Достоевский наивно и невинно схитрил около Пушкина, навязав ему «пророческое предвидение наших теперешних дней»: Пушкин таким «пророчеством» не обладал, не был им болен, им богат или им беден, а в «Алеко» он просто передал одно из бывавших или возможных приключений своего помещичьего времени, широкого и самодурного, капризного и поэтического, в том вкусе и роде, о каком исторически известно в судьбе и приключениях «кавалерист-девицы» г-жи Дуровой. И только. Я сказал об экстазе, который, по всему вероятию, овладел Достоевским в самый момент, как он вошел на эстраду. И вот, едва почувствовав этот приступ тоски и бури в душе, он прямо сейчас же (самое начало речи) заговорил об этих «русских мальчиках», заговорил языком «лирических отступлений» Гоголя и уж никак не эпическим языком Пушкина:

«...В Алеко Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем»...

Достоевский все явление связывает с реформою Петра Великого, «оторвавшего общество от народа». Но это – явная ошибка. Аналогичные «бегуны» были у нас до Петра; да и теперь в народе они являются не от «реформы Петра», так как последняя еще «по почте не дошла» на Урал, в Сибирь, всюду, где появляются безграмотные «страннички», уходящие и уходящие в леса, в «мать-пустыню».

«Тип этот схвачен безошибочно, тип этот постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут».

На самом деле, пойдя не «от Петра», а выражая черту русского духа, они не исчезнут вовсе и никогда. И... либо разрушат русскую державу, определенный строй, кристалл русской жизни, или... может быть, занесут его куда-нибудь в небо. Дело в том, что тут много и «монгольщины», и «святой души».

«...В наше время если они и не ходят в цыганские таборы, то ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верою на другую ниву и работают на ней ревностно, веря, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного, ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживаются разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и о нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает».

Таким образом, в путающейся, далеко не сознательной, глубоко безотчетной речи Достоевский то относил это явление к «Петру Великому», то говорил, что это «охватит всех», «захватит всю Россию».

Из последующих слов мы возьмем только эту вкрапинку:

«...У него лишь тоска по природе, жалоба на общество светское, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он отыскать никак не может».

Ну, где тут Пушкин, какой Пушкин?... Это – «Тройка» Гоголя, его «у, Русь, чего ты вперила в меня очи и ждешь чего-то от меня» и проч. Точнее, гоголевские «лирические места», так безотчетные и так невольные, были «эмбрионаами», «начальными завитками» этих бушующих речей Достоевского, вот как на пушкинском празднике и как многие его страницы-монологи в романах и в «Дневнике писателя». Есть личный дух, а есть и дух истории, прямо «личность истории», и Достоевский не тем продолжал Гоголя, что после «Шинели» написал «Бедных людей» (взгляд И. С. Аксакова), а вот тем, что сказал об Алеко и цыганах, о Татьяне и Онегине после «у, Русь» Гоголя, тем, наконец и вообще, что душа Достоевского во многом продолжала и «уяснила смысл» души Гоголя, «раскрыла содержание» души Гоголя, как «дерево» раскрывает смысл «зерна, из которого выросло»...

Из приведенных цитат и указаний можно видеть, что огромная полоса творчества Достоевского была занята темою «бродящего русского мальчика», – мальчика, отрока, юноши, но, во всяком случае, «без своего дома и места на

земле»... Вместо «дома» – тревога; вместо «отечества» – тоска; «какой-то плач о какой-то и кем-то потерянной правде», – как он хорошо выразился. Это, так сказать, общее облако, из которого «пал дождь» там и здесь в его романах и, в конце концов, оросил половину их...